

## РОМАН Г.Н. ПОТАНИНА И Н.М. ЯДРИНЦЕВА «ТАЙЖАНЕ» КАК ПРЕДОПРЕДЕЛЕННЫЙ НЕУСПЕХ: ПОЭТИКА ЗАМЫСЛА

В центре внимания находится роман Г.Н. Потанина и Н.М. Ядринцева «Тайжане» как крупнейший результат художественных исканий сибирских областников 1860–1870-х гг. В работе ставится проблема закономерности творческого фиаско соавторов, обусловленного, как показано в статье, неспособностью молодых писателей интегрировать жанровые традиции и образно-идеологические конструкты различного происхождения. «Тайжане» понимаются в этой перспективе как предвестие системного кризиса областнического проекта в литературе.

**Ключевые слова:** Г.Н. Потанин; Н.М. Ядринцев; областничество; роман; поэтика; хронотоп; идиллия.

В современной науке масштабное наследие лидера сибирского областничества XIX в. Г.Н. Потанина рассмотрено с нескольких точек зрения: внимание исследователей главным образом привлекал Потанин-этнограф, путешественник, публицист, фольклорист (работы М.В. Шиловского [1], А.М. Сагалаева, В.М. Крюкова [2] и др.). Однако писательская деятельность ученого в течение десятилетий не анализировалась: создававшийся совместно с Н.М. Ядринцевым в начале 1870-х гг. романский проект был недовершен, литературно-критические статьи в отсутствие серьезного, теоретически обоснованного разговора об областничестве казались маргинальными. Интерес к художественному творчеству областника усилился после того, как в 1997 г. Н.В. Серебрянниковым был опубликован и прокомментирован черновик повести (романа) из сибирской жизни «Тайжане» [3]. Позднее исследователь ввел в научный оборот еще несколько фрагментов этого текста, так и не ставшего законченной эстетической целостностью [4, 5]. В ряде своих работ Н.В. Серебрянников обратил внимание на приемы создания образов персонажей, стиль письма, близкий очерку и в то же время предполагающий игру-диалог с читателем [6. С. 141–142]. Особое внимание уделено в монографии истории создания текста, сотрудничеству двух мировоззренчески близких, но в художественном отношении весьма не похожих друг на друга авторов, какими были Г.Н. Потанин и его младший друг и соратник по областническому движению Н.М. Ядринцев.

Исследователи, анализирувавшие эпистолярное наследие областников, отмечают «жанровую неустойчивость» черновика, заключающуюся в сочетании элементов романа-фельетона, письма и очерка [6. С. 158–160]. К.В. Анисимов рассматривает «Тайжан» как попытку Потанина и Ядринцева «художественно осмыслить автобиографический материал, <...> придать ему знаковый, программный характер» [7. С. 223].

Обобщим: в настоящее время найдено и опубликовано три фрагмента «Тайжан», рассмотрена история создания текста, реконструирован путь изменения замысла, тематическая и эстетическая установки соавторов; однако не выработан единый взгляд на жанровую природу произведения Потанина и Ядринцева, не рассмотрена его художественная структура, с точки зрения мифопоэтики и не объяснены внутренние, системные причины краха романного замысла, неудачи, которую нельзя отнести на счет только нехватки

таланта – причины слишком общей, неопределенной и к тому же в массе случаев не препятствовавшей появлению второразрядных, однако завершенных, а иногда и весьма популярных у публики произведений.

На настоящем этапе понимание областничества и, в частности, исследование романа Потанина и Ядринцева требуют систематизации всех современных подходов как к проблемам культурной легитимации территориальной сибирской идентичности, так и к специфической поэтике текстов, которые создавались в осваиваемых империей географических пространствах. В работах такого рода не раз реактуализировалось теоретико-философское наследие М.М. Бахтина. Не менее важно современное осмысление теорий знаменитого ученого, касающихся романа.

Так, Н.Д. Тмарченко недавно показал, насколько продуктивной может быть ревизия взглядов М.М. Бахтина на этот жанр. Хорошо известно, что особенности романа плодотворно раскрываются при его сопоставлении с эпосом. Ключевыми для интерпретатора бахтинской теории оказываются следующие конститутивные слагаемые романного повествования: во-первых, стилистическая трехмерность, связанная с присущим роману многоязычным сознанием – стадийно существенно более современным, чем эпос [8. С. 70]; во-вторых, отнесенность мира персонажей и сюжетного события к «настоящему в его незавершенной современности» [9. С. 215], в-третьих, изображение героя «в исторически меняющемся пространстве и времени» [8. С. 70]. «Стилистическая трехмерность», по Н.Д. Тмарченко, – это «соотношение в нем трех типов прозаического слова и связанных с ними “плоскостей”: авторской, объектной и “внутренне диалогической” (встречи в одном высказывании на равных правах смысловых направленностей разных субъектов)» [Там же. С. 85]. Рассматривая более детально проблему романа в осмыслении Бахтина, Н.Д. Тмарченко обращает внимание на то, что хронотоп, по сути, обуславливает структуру романа и тип его героя [Там же. С. 73]. А таковым, как ранее замечал Ю.М. Лотман, рассуждая об ограниченности типов сюжетного пространства в русской литературе, во многом детерминирован романский сюжет [10. С. 715].

Опираясь на приведенные наблюдения, мы сосредоточим внимание на особенностях хронотопа, типологии героя и стиле авторов-областников. Анализ «Тайжан» в намеченной перспективе логично предва-

рить осмыслением литературно-эстетической программы областничества, выраженной в статье Г.Н. Потанина «Роман и рассказ в Сибири» (1876), которая по существу выступила в роли комментария к романному замыслу.

Эссе областника [11. С. 18–40] представляется четкой системой тезисов, вытекающих один из другого и подчиненных общей программной идее.

Согласно первому утверждению Г.Н. Потанина, писатель должен быть областным, т.е. родиться и провести детство и юность на своей малой родине. Такое изначальное приращение к региону, по мнению теоретика областничества, означает, что сибирскому литератору всю жизнь следует посвятить изучению, осмыслению и решению местных вопросов. В недавней работе об этой статье областника И.А. Айзикова недаром указала, что идентификация писателя как *сибирского* осуществляется «через соизмерение с идеей кровной неразрывной связи литературы, автора и читателя с Сибирью, с мыслью о высоком служении ее культурному и духовному росту, изменению ее устоявшегося образа как места ссылки и каторги, нетронутых земель и никем не используемых природных богатств...» [12. С. 85].

Особенно ярко этот тезис вычитывается из осуждений Потаниным Светлова, главного героя прогрессивного в то время, но быстро забытого леворадикального романа И.В. Омулевского «Шаг за шагом» (1870):

«Понятно, что у него не могло образоваться никакой любви к этому захолустью; он собирался действовать, в Ушаковске или в другом месте, это ему было всё равно; в Ушаковск он приехал только потому, что тут жила его семья. Как живут ушаковцы, какие у них местные нужды, об этом он никогда не размышлял, — «глуповцы, как везде», думал он. Когда он въезжал в город, говорит автор, ему казалось, что если бы он мог приподнять в настоящую минуту крыши всех этих домов и проникнуть в самые задушевные помыслы их обитателей, — «немного бы нового он узнал и увидел». В столице Светлову наговорили о каком-то деле, дали ему программу, и вот он едет в свой Ушаковск выполнять её. Принимается он за свою деятельность не потому, что он долго жил рядом с ушаковцами, вместе с ними долго думая одну думу, долго мучился одними и теми же неудовлетворёнными потребностями, а только потому, что так обязывает программа» [11. С. 22].

Далее Г.Н. Потанин поясняет:

«Прочно только то, что основано на сознании самого общества; и вот для этого-то следовало бы Светлову, скромнее относясь к своей личной персоне и не преувеличивая значения своих небудничных интересов, заглянуть под ушаковские крыши и прислушаться к той жизни, которая там бьётся. Человек, принимающийся за дело без тщеславия, сознаёт, что он не больше как слуга того общества, которому служит...» [Там же. С. 24].

Из предыдущего высказывания вытекает убежденность Потанина в том, что роман о Сибири должен быть адресован местному читателю, а изображенная областная жизнь не может являться только материа-

лом творчества, наоборот, авторский замысел должен подчиняться этой жизни, местным интересам. Можно сказать, что в статье «Роман и рассказ в Сибири» выстраивается своеобразный идеологический круг: сибирский писатель, сибирские вопросы, сибирский читатель.

Отыскивая причины отсутствия в регионе полнокровной литературной жизни, Г.Н. Потанин отмечает следующее:

«Причина этого обстоятельства, как нам кажется, заключается в особом строении сибирского общества. Как известно, в нём не было никогда дворянства, и оно состояло только из крестьян, мещан и, частью, купцов. Место дворянства, которое в России является главной движущей силой в умственном отношении, здесь занимало чиновничество; его мы обыкновенно разумели под именем образованного общества в Сибири; но только часть его и то, собственно, мелкое чиновничество, не отличающееся высоким образованием, вполне принадлежало к местному населению по своему происхождению; остальная часть была слишком удобоподвижна и так слабо привязана к краю, что не могла в отношении его играть ту же роль, какую играло в провинциях европейской России прочно привязанное к своим усадьбам дворянство» [11. С. 18].

Следовательно, для полнокровной литературной жизни в регионе необходима местная интеллигенция, которая совместит в себе сибирское происхождение и европейскую образованность. Возможно, именно потому так горячо и язвительно в статье осуждается Светлов, имеющий всё, чтобы стать достойным представителем местной образованной общественности, но вернувшийся в родной город «не с теми», по мнению критика, намерениями и убеждениями.

Учитывая постоянное, часто болезненное, внимание Потанина и Ядринцева к имперской ситуации резкого возвышения столичного центра над подчиненными ему регионами, данная литературно-критическая программа может быть прочитана с точки зрения теории социальных полей П. Бурдьё, что позволит теоретически корректно осмыслить позицию сибирского литератора.

П. Бурдьё рассматривает литературный процесс как расположение и перемещение агентов культурного производства в одном социальном пространстве, названном полем [13. С. 367–368]. Ученый выделяет две противоположные позиции, в которых может находиться литератор: место в центре поля и место на периферии [Там же. С. 368]. Под центром литературного поля логично понимать столицу, под периферией — провинцию. По мнению Бурдьё, существование в поле изначально укоренившихся сил лишает писателя, поэта и т.д. уникальности жизненного пути, заставляя выстраивать свою траекторию (как творческую, так и биографическую) по уже существующим типам [Там же]. Следовательно, для провинциального писателя траектория уже задана: ему необходимо занять место в центре литературного поля, получив «освященность», признание других писателей [Там же. С. 380–381] или любую реакцию на себя от агентов, доминирующих в поле [Там же. С. 382]. Если символическое покорение столицы — утверждение в

центре поля – не случилось, то у писателя остается еще несколько стратегий поведения: выход из поля или обращение к «низким жанрам и к низким формам основных жанров («областной» или «народный» роман)» [13. С. 439–440].

Согласно теории Бурдьё, Г.Н. Потанин занимает в поле имперской литературы положение на периферии: родился в провинции [1. С. 9], выходец из казацкой военной среды [Там же. С. 14], до поездки в столицу учился в Омском военном училище [Там же. С. 16]. Поездка в Петербург не привела к вхождению в «пантеон», она не предполагала и попытку «покорения» столицы, скорее помогла Потанину понять расположение сил в поле и оценить свою позицию в нем. П. Бурдьё, рассматривая ситуацию неуспеха, указывает на ее двойственность: «...“провал” <...> может быть и добровольно претерпеваем, и избираем поневоле» [13. С. 375]. В случае Потанина и Ядринцева можно говорить о «провале» добровольном, так как областники уклонились от борьбы за столицу. Вместо этого они займются выстраиванием литературного субполя в Сибири, выбрав вторую, по Бурдьё, стратегию поведения после неуспеха. Избранная траектория диктует иную, отличающуюся от столичной эстетику, которая и отразилась в эссе «Роман и рассказ в Сибири», ставшем своеобразным манифестом литературного областничества. И, возможно, главный упрек, адресуемый И.В. Омулевскому, заключается в том, что писатель не сумел занять центральное место в формируемом литературном пространстве.

В конце статьи Г.Н. Потанин, рассуждая о судьбе Н.И. Наумова, делает замечание, что писатель, покидая свою родную область, лишается литературного дара [11. С. 39]. В качестве доказательств он ссылается на судьбы Гоголя, Шевченко, Решетникова. Потанин прямо не заявляет, но вполне ощутимо дает понять, что может существовать только областная, местная литература. А тогда не вызывает удивлений предложение критика отказаться от славы читаемого, широко известного писателя (возможно, даже не столько от самой славы, сколько от мечты о ней) и всю жизнь прослужить местным делам и местным интересам. На основе сказанного можно заключить, что областник сознательно разрушает ключевую для литературного поля оппозицию «центр – периферия», пытается превратить всё поле имперской культуры в сумму отдельных, самобытных областных словесностей.

Такова эстетическая программа областничества в понимании Г.Н. Потанина. Ее подробное рассмотрение помогает понять одну из главных причин неуспеха собственного романного проекта Потанина и Ядринцева: областники, манифестируя приуроченность героя к одному месту, сами того не осознавая в полной мере, пытаются в одном тексте соединить идиллическую доминанту, которая неизбежно актуализируется идеологической установкой «служить своему», а потому, в частности, требует пребывания героя в исходном локусе, и романную, для которой необходим выход героя из своей локальности.

Как получилось, что роман и идиллия оказались противопоставлены? Особенности романной формы мы вкратце осветили ранее, теперь обратимся к идил-

лии. Подробно специфику идиллического хронотопа рассматривает М.М. Бахтин. По мысли философа, идиллия представляет собой один из возможных хронотопов в романе [14. С. 373]. Главнейшим в идиллии, по Бахтину, является следующее: «...органическая прикрепленность, приращенность жизни и ее событий к месту – к родной стране со всеми ее уголками, к родным горам, родному долу, родным полям, реке и лесу, к родному дому. Идиллическая жизнь и ее события неотделимы от этого конкретного пространственного уголка, где жили отцы и деды, будут жить дети и внуки. Пространственный мирок этот ограничен и довлеет себе, не связан существенно с другими местами, с остальным миром» [Там же. С. 374]. Философ называет также две сопутствующие черты: во-первых, ограниченность «только основными немногочисленными реальностями жизни» [Там же], во-вторых, «сочетание человеческой жизни с жизнью природы, единство их ритма, общий язык для явлений природы и событий человеческой жизни» [Там же. С. 375]. Рассуждая о семантическом первообразе идиллии и развивая мысли Бахтина, В.И. Тюпа недавно подытожил: «Коммуникативная стратегия дискурсов упокоения – *центростремительна*, поскольку социальная ситуация покоя принципиально замкнута в своих границах» [15. С. 129]. Бахтин указывает, что идиллия послужила одной из ступеней в истории романа, обусловив несколько векторов его развития [14. С. 377]. Нас в первую очередь интересуют следующие направления: областнический роман и разрушение идиллии.

Что представляет собой пространство романа «Тайжане»? В каких взаимоотношениях окажутся разворачивающееся романное начало, связанное со становлением героя и поиском своего места в мире, и идиллическое?

Обсуждение проблемы хронотопа следует начать со следующего замечания: выбор Сибири местом действия программирует целый ряд принципиально важных черт. Вплоть до последних десятилетий XIX в. в русском образованном обществе над точными и исчерпывающими знаниями о регионе, которых на самом деле собрано уже было немало, главенствовал миф «далекой земли», призванный заполнить лакуну на культурной «карте». Поэтому «азиатская» территория России была мифологизирована самым противоречивым образом: с одной стороны, «Сибирь уже прочно вошла в литературу и устную мифологию как символ ссылки» [16. С. 24], которая «воспринималась равносильной смерти» [Там же], с другой стороны, это было пространство свободы от крепостничества и безземелья, «золотое дно» с безграничными запасами ресурсов [17. С. 69], страна крестьянского счастья. В то же время под влиянием ссылки регион превращается в место пестрого и парадоксального скопления одновременно и преступных элементов, и интеллигенции («декабристов, петрашевцев... полков» [16. С. 25]). К этому добавим, что представление «Сибирь – место каторги и ссылки» со временем трансформируется в иное: «Сибирь – место очищения от греха, место духовного воскресения» [18. С. 11–14]. В сюжетной типологии русского романа, по Ю.М. Лот-

ману, Сибирь становится местом наказания за грех, после которого следует возрождение [10. С. 723–725]. В.И. Тюпа продолжил анализ лиминального сибирского хронотопа, проследив изображение зауральского пространства в ряде произведений разных веков, и выделил черты, по которым можно распознать пространство как некий «антимир», «ад» и т.д. [19. С. 254–264].

Представление о зауральских владениях империи как о русском «Эльдорадо» нередко оборачивалось разочарованием. В конечном счете неоднозначный характер территории находил отражение в художественных текстах о Сибири всех литераторов, имевших «сибирский опыт», причем акцентируемые черты образа региона зависели от обстоятельств пребывания писателя в Сибири, его мировоззренческой и культурной установок, условий, диктуемых эпохой [20]. Особенности территории, остро воспринятые литературой, позволили исследователям выделить так называемый сибирский текст, говорить об особенностях хронотопа, удивительным образом сочетающего в себе идиллическое и inferнальное [19. С. 254–264].

Именно структура хронотопа романа «Тайжане» позволяет включить его в сибирский текст русской литературы. Inferнальные черты выступают на первый план при изображении тайги, быта прииска и таежных обитателей. Присмотримся внимательно к эпизоду, в котором представлен путь главного героя к прииску:

«Ехать по такой дороге *мучительнее*, чем по сыпучим пескам Туркестана. Тело лошади колеблется, и вместе с нею наверху раскланивается с каждой елью тайги. Грязь летит из-под копыт, садится на платье и образует глиняные футляры на ногах путников. Бубенчики под шеей лошадей позвякивают *монотонно* и в той же степени *убаюкивают мысль*, в какой качка *усыпляет* тело. Извольте так прокататься целый день, а то еще и несколько дней, потому что большая часть приисков лежит *глубоко* в тайге. Качаться в седле надоело, а сойти с лошади и идти пешком невыносимо – грязь по колено. Приедешь на прииск, чувствуешь, будто *спустился* в глубокий рудник по грязной *лестнице*» [3. С. 13–14].

Здесь мы видим две черты inferнального хронотопа. Во-первых, дорога ведет вниз, сам прииск расположен на дне ямы. То есть место действия в некотором смысле – мир, расположенный под землей. Во-вторых, путь туда мучителен для героев, качка усыпляет. Муки и сон, путь вниз по лестнице – приметы соприкосновения с лиминальным пространством [19. С. 254–264].

Третья черта «Тайжане» вычитывается из разговора Ваныкина с попутчиками по дороге к прииску:

«– Что ж никто не скажет об этом золотопромышленнику?

– А кому сказать-то? *Все боятся!* Верует ему шибко барин-то! Народ жжат, пикнуть не смеют. То же никому неохота посидеть в яме!

– В какой яме?

– *Яма* такая у них есть, два венда только сверху, а окошка нет. *Мертвые тела* туда кладут. Кто провинится, туда же сажают. Неделью-то как подержат в этой яме, самый здоровый мужик выйдет оттуда, шатается, как *тень*. На свет-то не может взглянуть сразу – отвыкает» [3. С. 15].

Страх наказания окутывает все пространство прииска. Яма-могильник, в которую не проникает свет и которая поглощает все силы здорового человека, превращая его в тень, становится местом концентрации всего пугающего, злого в изображаемом пространстве.

Каким предстанет перед героем цель его путешествия – прииск?

«Перед ними открылся прииск как на блюдечке. Широкая *падь*, образованная двумя *скатами*, в самом *низу* которой, вероятно, текла речка, была в беспорядке застроена домами различной величины. В центре виднелся дом золотопромышленника, одноэтажное длинное здание с крыльцом на переднем фасаде и с садом сзади. Кругом были построены квартиры для «слугак», контора, казармы для рабочих, больница, двухэтажные амбары с галереями и красными дверями. Все это было окружено очищенным от леса местом, так густо усеянным торчащими пнями, что поле походило на скошенное жнивье, которое было засеяно колоссальной пшеницей. Кругом, как *стена*, еловый лес» [Там же. С. 18].

Приведенный отрывок указывает на три ключевые черты в описываемом пространстве: нагнетается его низинное положение, в образе стены леса подчеркивается замкнутость и ограниченность локальности, упоминанием о протекавшей здесь некогда реке акцентируется сходство места с царством мертвых. Отмеченные особенности находят подтверждение и в дальнейшем повествовании:

«Дорога вывела на край «разреза», то есть огромной *ямы с отвесными боками*, внутренность которой вынута и или отвезена в сторону и сложена в «отвалы» или промыты на машине. На оголенных *стенах* разреза росли ели, корни которых жилообразно разветвлялись в обнаженных зимних слоях. *Дно ямы* было усеяно людьми, как муравейник; одни, с подвязанными головами, с каплями пота на лбу, долбили землю кайлами; другие на ручных тачках отвозили откопанный песок на машину; люди двигались взад и вперед; местами были распределены «нарядчики», которые смотрели за прилежанием рабочих; их можно было отличить по одежде, галстукам из красных платков и по отсутствию пота на лицах» [Там же. С. 18–19].

Приведенная цитата не только развивает изначально заданные черты «ада», но и захватывает новые благодаря визуальному и слуховому восприятию прииска героем (вид рабочих, занятых тяжелейшим трудом, как будто в наказание):

«Болезненный крик несся из лесу у разреза и приковал к себе внимание Ваныкина. Он скоро разглядел полотнояную простыню, подвязанную углами к ветвям елей; на ней лежал ничком рабочий; он был в забое, на него обвалилась целая стена разреза, пригнула его голову к ногам, и у него преломился становой хребет; кожа и мускулы порвались. Он оглашал тайгу неистовыми стонами; смерть его была неизбежна...» [Там же. С. 19].

Образ рабочего, занятого бесполезным трудом и прямо названного повествователем Сизифом, становится завершением картины адского хронотопа: «Посередине разреза на пустой площадке какой-то Сизиф

в броднях, красном платке на лбу и в грязной рубаше в лохмотьях бил огромным кузнечным молотом по огромному монолиту; он должен был разбить его, хотя в этом не было никакой практической цели для прииска; это была кара за какое-то ослушание» [3. С. 19]. Здесь четко усматривается прямое указание на древнегреческое царство мертвых, функционально тождественное христианскому аду.

Черты тайги-ада нагромождаются друг на друга, концентрируясь в важнейших для понимания авторского отношения к золотопромышленности местах; такое построение образа указывает на мифопоэтическое осмысление пространства сибирского прииска, что было вполне традиционно для построения романного сюжета XIX в.

С другой стороны, авторы постепенно подводят читателя и к иному восприятию рудника, которое сложно соотносится с освещенным только что. Конструирование образно-топографической связки *тайга – тюрьма* достигается способом, который можно назвать кумулятивным: Потанин и Ядринцев добавляют в разных местах то одну, то другую черту тюремного быта. Первой подвижкой к осмыслению тайги как места заключения становится часто употребляемая солдатами и арестантами фраза, как бы случайно промелькнувшая в речи собеседника главного героя по пути на прииск: «Господи, кака власть над людьми дана!» [Там же. С. 15]. Уже приведенное нами указание на замкнутость, ограниченность пространства и сравнение леса со стеной становится еще одной чертой осмысления территории тайги как места неволи. Следующим шагом развертывания образа в намеченной перспективе выступает деталь во внешности рабочих: «...снимали шапки и раскланивались, иногда обнаруживая половину бритой головы по-арестантски» [Там же. С. 19]. Указанная особенность не случайна в образе рабочих, так как на прииске они полностью зависимы от хозяина, а сбежавших ловят и наказывают. «Нарядчики», контролирующие труд, исполняют функции тюремных надзирателей.

Прямое название тайги тюрьмой принадлежит Наталье, сестре главного героя:

«Тайжанка жалуется на скуку в тайге. Она называет тайгу тюрьмой. Ваныкин смотрит в окно. Действительно, кругом прииска облегал еловый лес плотную черною стеной; острые вершины елей напоминали очень острожные пали» [Там же. С. 33].

Следует отметить, что высказывание девушки становится для Ваныкина в некотором роде открытием. Только после ее замечания он начинает критично относиться к пространству, в которое попал. Именно в речах Натальи в дальнейшем повествовании будет нагнетаться образ тайги-тюрьмы:

«— Наша тайга это — «трюм», — говорит Наталья. — Знаешь, что такое трюм? Это подвальный этаж в городских тюрьмах. Тут вечная игра, пьянство, пороки; это дно человеческого общества. Я сама не видала его, но одна моя подруга описала мне его в письме, и она сделала сравнение» [3. С. 34].

Инфернальный хронотоп помимо всего перечисленного проявляется и в изображении «дикости» таежной жизни («дикость» здесь может рассматривать-

ся как противоположность цивилизованности). Мы уже говорили о бесчеловечности условий быта прииска, в его удаленности от центров цивилизации. В романе хорошо заметна неоднородность пространства: в море всеобъемлющей дикости отыскиваются «острова» образованности: кабинет Геллерта и быт Бронислава Казтановича. Присмотримся к ним внимательнее.

Кабинет хозяина прииска, изображенный Потаниным с почти гоголевской бытописательной достоверностью, выглядит следующим образом:

«Кабинет Геллерта представлял отрывок европейской культуры, занесенный в тайгу, как кипрей и осот занесены с деревенских пашен на приисковые отвалы. На стенах висели портреты немецких музыкантов и поэтов, гравюры Рембрандта, бюстики Гете и Шиллера. Широкий шкаф вмещал не менее 200 томов, где, кроме Лессинга и других немецких классиков, была многотомная «Азия» Риттера. У другого простенка стояла горка с редкостями, окаменелостями и древностями, вынутыми из золотоносного пласта, самородок самый большой, найденный в Паисиевском прииске и лежавший на свидетельстве от горного правления, и разные замечательные поделки европейского вкуса. Под столом лежала вместо ковра шкура исторического медведя, который был убит в то самое время, как торжественно въезжал в Паисиевский прииск на корове, в которую завязал лапу. В углу стоял столик для приема золота; над ним вески и магнит, а под ним тяжеловесный окованный сундук, в котором была медная урна с замком — сюда-то всыпалось ежедневно золото и хранилось под надзором ун<т>-ера, то есть сибирского казака» [Там же. С. 22].

При этом в романе «интеллектуальная» наполненность кабинета не свидетельствует об интенсивной жизни ума Геллерта. Всё, представленное читателю, для немца не более чем способ создать комфорт вокруг себя. Иная картина наблюдается в описании быта ссыльного поляка, в образе которого представлен истинно образованный человек:

«Он попал нечаянно в гости к уединенно-жившему обывателю Брониславу Казтановичу. Все ему в его квартире показалось не по-провинциальски: куча книг, Сэй, Смит, Воловский, Рошер, Милль; полуразрушившийся от страданий и занятий организм хозяина; огненный взгляд, в контрасте с утлым телом; его обращение со слугой на вы: «Не стучите там так громко, Леонид!» Католическое имя слуги, шляпа, которую хозяин не снимал и в комнате — все переносило Ваныкина в страну, wo die Cytronen blühen» [Там же. С. 17].

Очевидно, что создание интерьеров в тексте служит для характеристики ключевых героев. Эта характеристика образов нужна Потанину для выражения идеи, «тенденции», сводящейся к артикуляции «местных вопросов»: фигура немца, в частности, позволяет автору указать на отсутствие подлинной сибирской интеллигенции, на подмену ее внешне культурными, но бесконечно чуждыми сибирской жизни людьми. Поляк тоже не может удовлетворять запросам автора, так как его заботят больше проблемы человечества, прогресса и науки, а не местные нужды.

Примечательно, что, по Ю.М. Лотману, инфернальное начало является одним из сюжетных архети-

пов русского романа, герой которого, по Ю.М. Лотману, словно обязан оказаться в Сибири: «Сибирь оказывается исключительно существенным моментом пути героев» [10. С. 724] и «...очень показательно именно для русского варианта, что – и при отсутствии ссылки или каторги – воскресение происходит именно в Сибири» [Там же. С. 725]. Вместе с тем логически развертываемая тема тайги-ада прерывается темой идиллии.

В романе она получила меньшее воплощение. Идиллическое начало конструируется с помощью приёмов ретроспекции и пейзажа. В первый раз идиллические черты мы можем проследить в изображении фантазий отца Ваныкина:

«Отец мечтал об счастье провинциала: завести свой дом, свою скотину, свою заимку – это был идеал сибирского блаженства. Он любил воображать себя сидящим за чайным столом; молодая жена сына разливает душистый чай; сливки не купленные, а от собственной коровы; маленькая внучка на коленях» [3. С. 16].

Н.М. Ядринцев, развивая созданный Потаниным образ, включает в свой вариант романа изображение «одной из станиц Киргизской степи», где окончивший гимназический курс Ваныкин присматривается к опозитизированной жизни и культуре киргизов, совершает путешествие на Алтай [4. С. 242–243].

Проводником идиллических мотивов в структуре «Тайжан» становится образ ссыльного поляка Бронислава Каэтановича, увлекающего молодого героя рассуждениями о всеобщем счастье людей. Идиллические мотивы звучат как в желании Ваныкина «войти в границы, приурочиться, локализоваться» [3. С. 34], так и в пейзажах, противопоставленных по эмоциональной окрашенности inferнальному облику прииска:

«...он ощущал мех – мягкий и сухой; он растянулся вдоль колоды, положил голову на руки и стал прислушиваться к тихим звукам тайги и приглядываться к почве, видневшейся между стеблями травы. Он нередко проводил такие часы в наблюдении над жизнью таежных крошек. Небольшое пространство, на которое смотрел Ваныкин, собрало на себе кучу миниатюрных реликвий прожитой жизни маленьких таежных лицедеёв; старый брошенный кокон, похожий на изношенный стоптанный башмак крошечного лешего, валялся у подножия сараны, которая только что выпустила первый пучок своих листьев и походила очень на крошечную пальму, на красавицу Габеш в миниатюре. <...> Маленький паучок с американской быстротой прокладывая свои блестящие рельсы и висаячие мосты и одну питательную ветвь прикрепил даже к носу Ваныкина. Долго любовался Ваныкин этими сценами, как вдруг услышал разговор вблизи» [Там же. С. 38].

Ближе к концу черновика образ тайги предстает перед читателем несколько в ином свете – опозитизированным, благостным:

«Тайга обхватила их со всех сторон. Ели толпятся здесь, как тростник речной, тонкие, до половины высоты с засохшими сучьями; аршинный мох чихрица висит с ветвей деревьев, как сталактиты под сводами пещеры; в этом частоколе так тесно, что стволы

сгнивших берёз стоят, опираясь на соседей, тогда как внутри их одна труха. Под сводами елей рос гороховник, в виде снопа, с горизонтальными растопыренными листиками, которые торчат в воздухе, точно тысячи ручек фальконетова Петра. В этой тайге бойко стучат по камешкам быстрые падуны, разные громотухи, гремячие ключи и прочее. Весело они шумят, эти единственные резвые дети тайги, только они одни пользуются привилегией нарушать ее величественное молчание. Они сливаются в речки, которые тихо, в еловых коридорах, текут по долинам тайги. Тайга – океан; без компаса заблудишься» [3. С. 60].

Максимальная степень поэтизации (и романтизации) наблюдается в следующем фрагменте:

«Глухая, торжественно-уединенная тайга производила сосредотачивающее на путников действие, точно храм. Чувства человеческой гордости притмирили перед ее величием. И действительно это был храм богу свободы и жизни, куда бежали вольные люди, соболевщики от кривых судов, праведней, податей и скитники, унося с собой св. Паисиев» [Там же. С. 61].

Образ Сибири у соавторов конструируется еще из одной пары взаимоисключающих свойств: мир провинциальной типичности и сибирского экзотизма.

Экзотическим (с точки зрения читателей, не живущих в Сибири) следует считать описание передвижения персонажей через тайгу, быт золотого прииска. Вместе с тем интерес для читателя европейской части России может представлять включенный Ядринцевым в текст исключительно сибирский колорит в образах местных купцов, интерьерах их домов и картинах торгового в Сибири:

«Отыскивая кяхтинского торговца, ведшего большие дела, или желая видеть управляющего заводом, он попадал и какую-то каморку, уставленную сундуками, завешенными пламенными коврами, с маленьким столиком, на котором стоял только хрустальный графин и рюмки да тарелка кислой капусты, этот единственный атрибут всякой коммерческой сделки или контракта на слово. Хозяина купца он находил часто на дворе перед кучею укубариваемых воев, посреди груды кож с кислым запахом, около бродней, полушубков, канатов и рожек» [4. С. 244].

Авторы акцентируют самобытность, необычность езды купцов:

«Так катили возвращавшиеся тюменские купцы, забавляясь лихою ездой. Лихая езда в привычке сибиряков, и с Урала уже начинается её предвестие. Про эту езду ходит много анекдотов. Проскакать 2 станции в 60 вёрст кряду в карьер здесь ничего не значит. Ямщики удивляют скоростью доставки. Лошади ни во что не ценятся при табунах скота» [5. С. 226–227].

А глава «Старые нравы Тюмени» содержит подробное описание купеческого разгула [Там же].

Что подразумевается под *провинциальной типичностью*? Йенс Херльт в статье о городе *N* выделяет следующие атрибуты провинциальности: безымянность (*N*, *NN*, Глупов, Скотопригоньевск и т.д.) города, символизирующая *одинаковость* всех провинциальных городов; скука как фон действий; сатирическое изображение действительности; удаленность топора от столицы и непохожесть его на деревню;

вторичность по отношению к Москве и Петербургу, проявляющаяся через подражание столицам; бессобытийность, разрушаемая приездом некоего чужеродного элемента и т.д. [21. С. 81–100]. Попробуем применить эту объяснительную стратегию к «Тайжанам».

Быт прииска отражает в себе некоторые перечисленные выше черты: в тексте подчеркивается, что дни протекают однообразно, какое-либо биение жизни начинает прослеживаться только с приездом Ванькина. На подражательность быта прииска указывает использование французского высказывания Цитроновым [3. С. 48]. Однако пространство романа гетерогенно: помимо Паисиевского прииска в поле зрения авторов оказывается Томск, Тюмень, Киргизская степь и еще ряд локусов.

Парадоксальным образом Томск, будучи явно провинциальным городом (во всяком случае именно в таком облике спустя менее чем два десятилетия он предстанет в сибирских письмах А.П. Чехова), во фрагментах, принадлежащих перу Н.М. Ядринцева, отступает от предписанных литературной традицией норм «провинциальности». Несоответствия проявляются прежде всего в топографической точности автора: потенциальный читатель знает, что действие происходит в реально существующем городе, название которого не скрывается за безликим *N* или *NN* и который стоит на реке Томь. Чтобы создать неповторимый, уникальный образ города, писатель использует некоторые сведения из его истории и повседневного быта: упоминает некогда живших в городе масонов [4. С. 232, 252], курсировавший между Томском и Тюменью пароход «Ермак» [Там же. С. 234, 253], период разгула преступности и пожаров, Мухинский бугор, Ушайку [Там же. С. 246], Юртинскую гору [Там же. С. 251].

Ядринцев также характеризует жизнь в Томске как «кипучую» [4. С. 246], что явно не укладывается в образ провинциального города, которому литературная традиция предписала скуку и бессобытийность. Подспудное уравнивание Томска и столицы просматривается и в следующем пассаже: Ванькину, едва оказавшемуся в городе и созерцающему его праздничное оживление, «грезилась какая-то улица Лондона из романов Диккенса» [Там же. С. 236].

Итак, что же представляет собой пространство романа? В литературной традиции сложилась бинарная оппозиция: столица – провинция; пространство романного проекта стремится занять срединное положение, образуя весьма противоречивое и, возможно, даже неестественное сочетание: инфернальное / идиллическое, критическое («тенденция» в терминологии областников) / романтическое, экзотическое / провинциально-типичное.

Противоречивый хронотоп диктует неоднозначность характера героя и, как следствие, трудности в построении сюжета. Как заметил Н.В. Серебренников, образ Ванькина до конца не ясен ни для соавторов, ни для читателя [6. С. 161]. Из наблюдений ученого следует, что Потанин и Ядринцев оказались в творческом плане «между Сциллой и Харибдой»: с одной стороны, прописывая путь Ванькина, они опасались представить на суд читателя бледную копию Светло-

ва, а с другой – не хотели превратить его в картонного, ходульного героя, имеющего слабое отношение к «правде жизни» и вторичного по отношению к уже известным героям романов столичной классики [6. С. 163–165].

Наиболее точно и ярко понял суть Ванькина сам Ядринцев. В письме к Потанину он дал герою такую характеристику: «многие личности будут в походе, в вояже, особенно Ванькин» [3. С. 105]. Далее областник развивает свою мысль: «Сам он есть повод для изображения обстановки, а потому я было увлекся этой обстановкой, забыв совершенно о герое, который давно посажен мной куда-то на стул, да так и сидит-дожидается» [Там же. С. 106]. Стоит заметить, что сидящим на стуле и дожидаящимся Ванькин получился и у Потанина: на прииске главный герой не совершает активных действий, не получает самостоятельность потому, что является лишь средством постановки «местных вопросов»; в пределах дошедшего до нас текста он нужен авторам либо для осуждения быта и алчности золотопромышленников, либо для указания на отсутствие местной интеллигенции и подмену ее ссыльными, т.е. элементами, принципиально чуждыми Сибири.

В письме к Потанину Ядринцев отметит в Ванькине черты культурного дикаря. Мы находим это замечание справедливым, так как в таком амплуа главный герой выступает и на прииске, и в Томске: он, как и потенциальный читатель, впервые видит тайгу, дороги в ней, быт золотопромышленника, квазистолничную жизнь города и т.д. Однако мы предполагаем, что эта особенность Ванькина является результатом не сознательной авторской установки, а рефлексией над уже написанными черновиками.

При этом «пустота» в образе героя позволяет ему аккумулировать целый спектр повествовательных стратегий: в «Тайжанах» можно проследить черты и романа-становления, сводящегося затем к не реализованным в полной мере биографическим траекториям «провинциал в столице» и «утраченные иллюзии», и авантюрного романа (добыча денег в тайге во время золотой лихорадки).

Судя по эпистолярному наследию Потанина и Ядринцева, подлинно романский сюжет становления Ванькина не входил в изначальные планы ни одного из соавторов: фигура Ванькина, уезжающего из Сибири, возникает только во втором наброске. Можно предположить, что в ходе работы над текстом главный герой показался писателям необходимым для *связи всех сцен*, рождавшихся в воображении областников. Затем, видя и осознавая художественную невыразительность и схематичность образа главного героя, соавторы наполняют его фрагментами своих собственных биографий: Ядринцев «подарит» Ванькину опыт учебы в томской гимназии, наделит героя «кинородческими» чертами внешности Потанина, прочертит путь юноши к просвещению через фигуры ссыльного поляка и Силезина, а затем направит в сторону Петербурга; Потанин в свою очередь отправит Ванькина знакомиться с жизнью золотоносного прииска. Следовательно, из-за *вынужденного* возникновения главного героя, из-за постановки во главу угла темы

штрафной колонизации и нравов тайги [3. С. 116], романное начало, требующее выхода героя из исходного локуса, не получает своего воплощения. Жанр очерка и фельетона («Это фельетонный роман, так и в примечании скажем» [3. С. 116]) поглощает жанр романа: эстетическая концепция областников одновременно требует от соавторов большое беллетристическое произведение из сибирской жизни и не позволяет ему быть таковым.

Подведем итог. Романский проект Г.Н. Потанина и Н.М. Ядринцева «Тайжане» строится на двух противоречащих друг другу и разрушающих друг друга стратегиях: идиллической, включающей в себя все «благостное», «приуроченное», «локальное», и романной (пороговой), в которую входит острая критика действительности и устремленность в иные пространства. Проти-

воречие проистекает из особенностей сибирского хронотопа, а также положения соавторов в литературном поле, их неудачной попытки «покорить» центр и созданной эстетической программы, ставшей следствием выбора пути в социальном пространстве. Всё отмеченное выше не позволяет выстроить внятный, сбалансированный, самостоятельный образ главного героя, носителя романного начала: он не может двигаться одновременно по взаимоисключающим траекториям, не может остаться в Сибири, в своих детских мечтах и чаяниях, и не может вырваться из начального локуса, построить свою биографию как преодоление пространственно-символических «порогов». Именно из-за этой «структурной» непроявленности, бледности героя, отсутствия в его пути полноценного становления текст приближается к очерку и не получает своего логического завершения.

## ЛИТЕРАТУРА

1. Шиловский М.В. «Полнейшая самоотверженная преданность науке». Г.Н. Потанин: Биографический очерк. Новосибирск, 2004. 244 с.
2. Сагалаев А.М., Крюков В.М. Потанин, последний энциклопедист Сибири: Опыт осмысления личности. Томск, 2004. 208 с.
3. Потанин Г.Н. Тайжане. Историко-литературные материалы / сост. Н.В. Серебренников. Томск, 1997. 304 с.
4. Ядринцев Н.М. Из романа «Тайжане» / публ. и коммент. Н.В. Серебренникова // Сибирский текст в русской культуре. Томск, 2007. Вып. 2. С. 232–252.
5. Ядринцев Н.М. «Начало романа «Тайжане»» / публ. и коммент. Н.В. Серебренникова // Сибирский текст в национальном сюжетном пространстве / под ред. К.В. Анисимова. Красноярск, 2010. С. 224–232.
6. Серебренников Н.В. Опыт формирования областнической литературы. Томск, 2004. 308 с.
7. Анисимов К.В. Проблемы поэтики литературы Сибири XIX – начала XX века: Особенности становления и развития региональной литературной традиции. Томск, 2005. 304 с.
8. Тмарченко Н.Д. «Эстетика словесного творчества» М.М. Бахтина и русская философско-филологическая традиция. М., 2011. 400 с.
9. Тмарченко Н.Д. Роман // Поэтика: словарь актуал. терминов и понятий / науч. ред. Н.Д. Тмарченко. М., 2008. С. 215–216.
10. Лотман Ю.М. Сюжетное пространство русского романа XIX столетия // Лотман Ю.М. О русской литературе. СПб., 1997. С. 712–729.
11. Потанин Г.Н. Избранное / сост. и автор предисл. А.П. Казаркин. Томск, 2014. 400 с.
12. Айзикова И.А. Образ сибирского писателя в литературной критике и публицистике Г.Н. Потанина и Н.М. Ядринцева (1870–1900-е гг.) // Вестник Томского государственного университета. Филология. 2017. № 49. С. 83–97.
13. Бурдьё П. Поле литературы // Бурдьё П. Социальное пространство: поля и практики. СПб., 2014. С. 365–472.
14. Бахтин М.М. Формы времени и хронотопа в романе. Очерки по исторической поэтике // Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных лет. М., 1975. С. 234–407.
15. Тюпа В.И. Дискурс / Жанр. М., 2013. 211 с.
16. Сибирь в составе Российской империи. М., 2007. 368 с.
17. Родигина Н.Н. «Другая Россия»: образ Сибири в русской журнальной прессе второй половины XIX – начала XX века. Новосибирск, 2006. 328 с.
18. Шатин Ю.В. Путешествие Нехлюдова в Сибирь. К проблеме инициации // Сибирский филологический журнал. 2016. № 2. С. 11–16.
19. Тюпа В.И. Анализ художественного текста. 3-е изд. М., 2009. 336 с.
20. Анисимов К.В. Климат как «закоснелый сепаратист». Символические и политические метаморфозы сибирского мороза // Новое литературное обозрение. 2009. № 5 (99). С. 98–114.
21. Херльт Й. «Этот город странен, этот город непрост...»: о литературной истории «города N» // Contributions suisses au XV-e congrès mondial des slavistes à Minsk, août 2013. Bern, 2013. С. 81–100.

Статья представлена научной редакцией «Филология» 28 января 2018 г.

## THE TAIGANS BY G. POTANIN AND N. YADRINTSEV AS A PREDESTINED FAILURE: THE POETICS OF THE CONCEPTION

*Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta – Tomsk State University Journal*, 2018, 427, 24–32.

DOI: 10.17223/15617793/427/3

Roman A. Grigorenko, Siberial Federal University (Krasnoyarsk, Russian Federation). E-mail: roman13-grigorenko@yandex.ru

**Keywords:** G.N. Potanin; N.M. Yadrintsev; regionalism; novel; chronotope; idyll; poetics.

This article analyses the novel project of the leaders of Siberian regionalism G.N. Potanin and N.M. Yadrintsev which was not completed and up to 1997 was unavailable for literary scholars' reflection. Recently three fragments of the unfinished text have been found and published. The first and the largest contains a picture of a mine, the second depicts the life of Tomsk and the third spotlights the way of life and customs of Siberian merchants. Scholars have reviewed the history of the text creation, reconstructed the paths along which the main idea was changing, the thematic and aesthetic lines of the co-authors. However, a unified view on the genre nature of Potanin and Yadrintsev's work has not been elaborated, and its narrative structure has not been thoroughly studied. The very reason of how and why the regionalists' idea of the novel collapsed has never become a point for scientific discussion either. Therefore, the aim of the present article is the explanation of the creative debacle of the co-authors by analyzing the features of the architectonics of the text and its genre dominants. To conduct the research in the given direction the author appealed to the theoretical heritage of M.M. Bakhtin, N.D. Tamarchenko, Yu.M. Lotman, V.I. Tyupa. The study of the peculiarities of the Siberian chronotope in the novel required the use of research works by N.V. Serebrennikov, K.V. Anisimov and Yu.V. Shatin. Alongside with the analysis of Potanin and Yadrintsev's novel, the career of the both authors in literature was revised in the perspective of Pierre Bour-



dieu's theory of literary field. The analysis revealed that the novel project by Potanin and Yadrintsev is based on two contradictory strategies: idyllic, which includes everything that refers to the semantics of "blissful", "dedicated", "local", and novelistic, which in terms of the plot presupposes hero's crossing numerous thresholds and includes sharp criticism of reality and the depiction of the main character's aspirations in other social spheres. This article proves that the unintentional undermining of the novel's viability by the authors is based on the coincidence of several factors: 1) peculiarities of the Siberian chronotope, which was mythologized and combined a number of directly contradictory characteristics in Russian literature; 2) the position in the literary circle of the both co-authors, who, as ideologically motivated provincials, aborted their attempts to "conquer" the centre; 3) the aesthetic program created by Potanin who summoned the regional writer to dedicate his destiny to the social milieu of his homeland. All mentioned above, as it is argued in the article, did not allow Yadrintsev and Potanin to build a coherent, balanced, independent main character, the main actor on the belletristic scene. Thus, the character was compelled to move simultaneously in mutually exclusive trajectories, i.e. he could not stay in Siberia, in his childhood dreams and aspirations, but also could not escape from the initial locus in order to construct his biography as a sequence of crossing the spatial and symbolic "thresholds". It is because of this "structural" incompleteness, the pallor of the character, the absence of a complete formation in his life that the approaches to the narration did not obtain their logical and artistic completion.

## REFERENCES

1. Shilovskiy, M.V. (2004) "*Polneyshaya samootverzhennaya predannost' nauke*". G.N. Potanin: *Biograficheskiy ocherk* ["Complete selfless devotion to science." G.N. Potanin: a biographical essay]. Novosibirsk: ID "Sova".
2. Sagalaev, A.M. & Kryukov, V.M. (2004) *Potanin, posledniy entsiklopedist Sibiri: Opyt osmysleniya lichnosti* [Potanin, the last encyclopedist of Siberia: The experience of comprehending the personality]. Tomsk: Izd-vo nauchno-tekhnicheskoy literatury.
3. Potanin, G.N. (1997) *Tayzhane. Istoriko-literaturnye materialy* [The Taigans. Historical and literary materials]. Tomsk: Tomsk State University.
4. Yadrintsev, N.M. (2007) Iz romana "Tayzhane" [From the novel "The Taigans"]. In: Kazarkin, A.P. & Serebrennikov, N.V. (eds) *Sibirskiy tekst v russkoy kul'ture* [Siberian text in Russian culture]. Is. 2. Tomsk: Tomsk State University.
5. Yadrintsev, N.M. (2010) <Nachalo romana "Tayzhane"> [<The beginning of the novel "The Taigans">]. In: Anisimov, K.V. (ed.) *Sibirskiy tekst v natsional'nom syuzhetnom prostranstve* [Siberian text in the national plot space]. Krasnoyarsk: Siberian Federal University.
6. Serebrennikov, N.V. (2004) *Opyt formirovaniya oblastnicheskoy literatury* [Experience in the formation of regional literature]. Tomsk: Tomsk State University.
7. Anisimov, K.V. (2005) *Problemy poetiki literatury Sibiri XIX – nachala XX veka: Osobennosti stanovleniya i razvitiya regional'noy literaturnoy traditsii* [Problems of the poetics of the literature of Siberia of the 19th – early 20th centuries: Features of the formation and development of the regional literary tradition]. Tomsk: Tomsk State University.
8. Tamarchenko, N.D. (2011) "*Eстетика словесного творчества*" M.M. Bakhtina i russkaya filosofsko-filologicheskaya traditsiya ["Aesthetics of Verbal Creativity" by M.M. Bakhtin and the Russian philosophical and philological tradition]. Moscow: Izd-vo Kulaginoy.
9. Tamarchenko, N.D. (2008) Roman [Novel]. In: Tamarchenko, N.D. (ed.) *Poetika: slovar' aktual. terminov i ponyatiy* [Poetics: the dictionary is relevant terms and concepts]. Moscow: Izd-vo Kulaginoy: Intrada.
10. Lotman, Yu.M. (1997) *O russkoy literature* [On Russian literature]. St. Petersburg: Iskusstvo-SPB. pp. 712–729.
11. Potanin, G.N. (2014) *Izbrannoe* [Selected works]. Tomsk: Tomskaya poligraficheskaya kompaniya.
12. Ayzikova, I.A. (2017) The image of a Siberian writer in literary criticism and journalism of G.N. Potanin and N.M. Yadrintsev (the 1870s–1900s). *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology*. 49. pp. 83–97. (In Russian). DOI: 10.17223/19986645/49/6
13. Bourdieu, P. (2014) *Sotsial'noe prostranstvo: polya i praktiki* [Social space: fields and practices]. Translated from French. St. Petersburg: Aletey-ya. pp. 365–472.
14. Bakhtin, M.M. (1975) *Voprosy literatury i estetiki. Issledovaniya raznykh let* [Issues of literature and aesthetics. Studies of different years]. Moscow: Khudozhestvennaya literatura. pp. 234–407.
15. Tyupa, V.I. (2013) *Diskurs / Zhanr* [Discourse / Genre]. Moscow: Intrada.
16. Dameshek, L.M. (ed.) (2007) *Sibir' v sostave Rossiyskoy imperii* [Siberia in the Russian Empire]. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie.
17. Rodigina, N.N. (2006) "*Drugaya Rossiya*": obraz Sibiri v russkoy zhurnal'noy presse vtoroy poloviny XIX – nachala XX veka ["A different Russia": the image of Siberia in the Russian magazine press of the second half of the 19th – early 20th centuries]. Novosibirsk: Novosibirsk State University.
18. Shatin, Yu.V. (2016) Nekhludov's journey to Siberia: the problem of initiation. *Sibirskiy filologicheskii zhurnal – Siberian Journal of Philology*. 2. pp. 11–16. (In Russian). DOI: 10.17223/18137083/55/2
19. Tyupa, V.I. (2009) *Analiz khudozhestvennogo teksta* [Analysis of the artistic text]. 3rd ed. Moscow: Akademiya.
20. Anisimov, K.V. (2009) Klimat kak "zakosnelyy separatist". Simvolicheskie i politicheskie metamorfozy sibirskogo morozha [The climate as an "obdurate separatist". Symbolic and political metamorphosis of the Siberian frost]. *Novoe literaturnoe obozrenie – New Literary Observer*. 5 (99). pp. 98–114.
21. Herlth, J. (2013) ["This town is strange, this town is not simple . . .": about the literary history of the "town of N"]. Contributions suisses au XV-e congrès mondial des slavistes à Minsk [Swiss contributions to the XV World Congress of Slavists in Minsk]. August 2013. Bern, pp. 81–100. (In Russian).

Received: 28 January 2018